Продолжение. Начало («Вести» № 4 от 08.02.2017)

В предыдущем номере нашей газеты редакция начала публиковать мемуары Антона Ивановича Деникина «Очерки Русской Смуты».

Личность генерала Деникина, лидера Белого движения на юге России во время гражданской войны (1918–1920 годы) всегда привлекала к себе внимание как представителей русской эмиграции, так и представителей советской власти. Он не принял власть большевиков (коммунистов) и до конца своей жизни был уверен, что этой власти придет конец. Во время Великой Отечественной войны белый генерал Деникин призвал русскую эмиграцию не помогать фашистам и не участвовать в походе на Советский Союз. В своем завещании Антон Иванович завещал похоронить себя в России. Его последнему желанию суждено было исполниться лишь в 2005 году.

В том же году его 86-летняя дочь Марина Антоновна получила российское гражданство. В год 100-летнего юбилея двух революций: Февральской (буржуазной) и Октябрьской (социалистической) (как указывалось в статье «Русская смута», «Вести» № 4 от 08.02.2017) – до сих пор остались без ответа два вопроса:

1. Считать ли вышеназванные революции (1917 г.) благом для страны?
2. Считать ли революции национальной трагедией российского государства?

Мнение наших читателей ожидаемо разделилось на две почти равные части: одни считали революции благом, другие – трагедией. Аргументы в пользу «блага» сводятся к нескольким нехитрым фразам: «Бедные научили богатых уважать себя», «Коммунисты построили великую державу, победившую фашизм и покорившую космос», «Коммунисты создали государство социального равенства». Самым интересным в этих аргументах было пренебрежение к тому, какой ценой мы построили так называемое государство социального равенства. Те, кто был уверен, что революции были национальной трагедией для России, приводили следующие аргументы: «Большевики были предателями своей страны и на немецкие деньги нанесли удар в спину, призывая (цитата из Ленина): «Превратим войну мировую в войну гражданскую». Так оно и случилось. «Большевики-коммунисты повинны в развязывании гражданской войны и кровавых репрессиях, проводимых против своего народа. В первую очередь они повинны в том, что страна за время гражданской войны и последующих лет репрессий

потеряла десятки миллионов своих граждан и была отброшена в экономическом развитии на десятки лет назад». «Коммунисты устроили гонения на церковь и физически уничтожили многих священнослужителей, тем самым подорвав духовно-нравственные основы российского общества», «Они создали лживое учение и навязали ложные моральные ориентиры своему народу», «При них не допускалось инакомыслие, не было свободы слова и вероисповедания, и был уничтожен класс крестьянства. Как мощная трудолюбивая социальная прослойка он перестал существовать». «Из-за просчетов военно-политического руководства СССР Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне около 30 миллионов своих граждан».

Каждый пятый человек нашей страны погиб на той войне.

Словно почувствовав неладное, председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов решил «причесать» колючие вопросы отечественной истории и с большой помпой презентовал свою книгу «Время выбора, время действий». В его интерпретации большевики не развязывали гражданскую войну и не устраивали репрессий против своего народа.

Сподвижники Геннадия Зюганова считают (цитирую): «Он умеет заглядывать за горизонт в своих предвидениях». Опыт философских прозрений Геннадий Зюганов получил сначала на комсомольской, а потом на партийной работе. Родился в 1944 году и через 25 лет, в 1969 году, окончив Орловский педагогический институт, перешел на комсомольско-партийную работу. В 1980 году окончил академию общественных наук при ЦК КПСС и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме: «Основные направления развития социалистического городского образа жизни на примере крупных городов страны». (Можно ли ее считать научным трудом после краха социализма в СССР?) С 1983 по 1989 годы работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. Зюганов в 1995 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Основные тенденции общественно-политического развития России и его механизмы в 80-90 годы».

Но вернемся к Антону Ивановичу Деникину и его «Очеркам Русской Смуты».

Мы продолжаем публиковать отрывки из его произведения и перед каждой публикацией будем размещать предисловие великого патриота России генерала Белой гвардии Деникина.

Вячеслав СКАЛАЦКИИ

«В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий. Поэтому, невзирая на трудность и неполноту работы в беженской обстановке – без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий, я решил издать свои очерки.

В первой книге говорится главным образом о русской армии, с которой неразрывно связана моя жизнь. Вопросы политические, социальные, экономические затронуты лишь в той мере, в какой необходимо очертить их влияние на ход борьбы.

Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее участие в ходе революции, ее жизнь, растление и гибель – должны послужить большим и предостерегающим уроком для новых строителей русской жизни.

И не только в борьбе с нынешними поработителями страны. После свержения большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа, перед последним с небывалой еще в отечественной истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия.

Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании ее кончины. Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и

физической встанет русский народ в силе и в разуме».

А. ДЕНИКИН,

Брюссель, 1921 г.

«Действительно, жизнь как будто толкала офицерство на протест в той или другой форме против «существующего строя». Среди служилых людей с давних пор не было элемента настолько обездоленного, настолько необеспеченного и бесправного, как рядовое русское офицерство. Буквально нищенская жизнь, попрание сверху прав и самолюбия; венец карьеры для большинства – подполковничий чин и болезненная, полуголодная старость. Офицерский корпус с половины 19 века совершенно утратил свой сословно-кастовый характер. Со времени введения общеобязательной воинской повинности и обнищания дворянства военные училища широко распахнули свои двери для «разночинцев» и юношей, вышедших из народа, окончивших гражданские учебные заведения. Таких в армии было большинство. Мобилизации в свою очередь влили в офицерский состав большое число лиц свободных профессий, принесших с собою новое миросозерцание. Наконец громадная убыль кадрового офицерства заставила командование поступиться несколько требованиями военного воспитания и образования, введя широкое производство в офицеры солдат, как за боевые отличия, так и путем проведения их через школы прапорщиков с низким образовательным цензом. Последние два обстоятельства, неизбежно присущие народным армиям, вызвали два явления: понизили, несомненно, боевую ценность офицерского корпуса и внесли некоторую дифференциацию в его политический облик, приблизив еще более к средней массе русской интеллигенции и демократии. Этого не поняли или, вернее, не хотели понять вожди революционной демократии в дни революции.

Везде в дальнейшем изложении я противополагаю «революционную демократию» – конгломерат социалистических партий – истинной русской демократии, к составу которой, без сомнения, принадлежит средняя интеллигенция и служилый элемент.

Но и кадровое офицерство постепенно изменяло свой облик. Японская война,

вскрывшая глубокие болезни, которыми страдала страна и армия, Государственная Дума и несколько более свободная после 1905 года печать сыграли особенно серьезную роль в политическом воспитании офицерства. Мистическое «обожание» монарха начало постепенно меркнуть. Среди младшего генералитета и офицерства появлялось все больше людей, умевших различать идею монархизма от личностей, счастье Родины – от формы правления. Среди широких кругов офицерства явился анализ, критика, иногда суровое осуждение. Появились слухи – и не совсем безосновательные – о тайных офицерских организациях. Правда, подобные организации, как чуждые всей структуре армии, не имели и не могли приобрести ни особого влияния, ни значения. Однако они сильно беспокоили военное министерство, и Сухомлинов в 1908 или в 1909 году секретно сообщал начальникам о необходимости принятия мер против тайного общества, образовавшегося из офицеров, недовольных медленным и бессистемным ходом реорганизации армии и желавших якобы насильственными мерами ускорить ее...

Настроения в офицерском корпусе, вызванные многообразными причинами, не прошли мимо сознания высшей военной власти. В 1907 году вопросы об улучшении боевой подготовки армии и удовлетворении насущных ее потребностей, в том числе и офицерский вопрос, обсуждались в «Особой подготовительной комиссии при Совете государственной обороны», в которую входили, между прочим, такие крупные генералы старой школы, как Н.И. Иванов, Эверт, Мышлаевский, Газенкампф и др. Интересно их отношение к данному вопросу.

Генерал Иванов говорил: «Упрекнуть наших офицеров в готовности умереть нельзя, но подготовка их, в общем, слаба, и в большинстве они недостаточно развиты; кроме того, наличный офицерский состав так мал, что наблюдается, как обычное явление, что налицо в роте всего один ротный командир. Старшие начальники мало руководят делом обучения; их роль сводится по преимуществу к контролю и критике. За последнее время приходится констатировать почти повальное бегство офицеров из строя, причем уходят, главным образом, лучшие и наиболее развитые офицеры...»

О повальном бегстве из строя «всего наиболее энергичного и способного» говорил и генерал Эверт. А генерал Мышлаевский добавил: «С полным основанием можно сказать, что наши военные училища пополняют не столько войска, сколько пограничную стражу, главные управления и даже в значительной мере гражданские учреждения». Мышлаевский, в качестве начальника Главного штаба, имевшего постоянное соприкосновение с бытом войск, указывал на новые явления: на «недоумение и беспокойство в верхних и средних слоях офицерского состава», вызванное, по его мнению, непопулярностью вновь введенного аттестационного порядка, принудительным увольнением по предельному возрасту и «неопределенностью новых требований»; на пропаганду среди «самого молодого офицерского состава», которая уже «достигла

некоторых успехов».

Все они – Иванов, Эверт, Мышлаевский и другие – видели главную, некоторые исключительную причину ослабления офицерского корпуса в вопиющей материальной необеспеченности его, а в устранений этого положения – надежнейшее средство разрешения офицерского вопроса. Не отрицая большого значения этого материального фактора, нельзя, однако, ограничиться таким элементарным объяснением перелома в жизни офицерской среды; в его возникновении играли роль и другие причины, более глубокие: и суженные тяжелыми внешними условиями духовные запросы, и интересы военной среды, и те обстоятельства, которые, вероятно, впервые в таком высоком собрании умудренных жизнью и опытом военных сановников изложил молодой подполковник Генерального штаба князь Волконский: «Что важно и что не важно, определяют теперь прежде всего соображения политические... Действительно неотложны теперь лишь меры, могущие оградить армию от революционирования... Возможен ли бунт в армии? Пропаганда не прекратилась, а стала умнее. Здесь говорили – «офицеры преданы царю». Морские офицеры были не менее преданны. Говорят: «Морские бунты совпали с разгаром революции». Но революция может вновь разгореться; аграрный вопрос может поставить армию перед таким искушением, которого не было во флоте. Офицерство волнуется. Кроме волнений, оставляющих след в официальных документах, есть течения другого рода: офицеры, преданные присяге, смущены происходящим в армии; иные подозревают верхи армии в тайном желании ее дезорганизировать. Такое недоверие к власти – тоже материал для революционного брожения, но уже справа. Вообще, непрерывное напряжение, травля газет, ответственность за каждую похищенную революционерами винтовку, недохват офицеров и бедность истрепали нервы, т. е. создали ту почву, на которой вспыхивает революционное брожение, нередко даже наперекор убеждениям...»

При этих условиях можно только удивляться, насколько все-таки сохранилось наше офицерство и насколько твердо противостояло оно левым противогосударственным течениям. Процент деятелей, ушедших в подполье или изобличенных властью, был ничтожен.

Что касается отношения к трону, то, как явление общее, в офицерском корпусе было стремление выделить особу государя от той придворной грязи, которая его окружала, от политических ошибок и преступлений царского правительства, которое явно и неуклонно вело к разрушению страну и к поражению армию. Государю прощали, его старались оправдать. Как увидим ниже, к 1917 году и это отношение в известной части офицерства поколебалось, вызвав то явление, которое князь Волконский называл «революцией справа», но уже на почве чисто политической.

Несколько в стороне от общих условий офицерской жизни стояли офицеры гвардии. С давних пор существовала рознь между армейским и гвардейским офицерством, вызванная целым рядом привилегий последних по службе – привилегий, тормозивших сильно и без того нелегкое служебное движение армейского офицерства.
Явная несправедливость такого положения, обоснованного на исторической традиции, а не на личных достоинствах, была больным местом армейской жизни и вызывала не раз и в военной печати страстную полемику. Я лично неоднократно подымал этот вопрос в печати, один из военных писателей полковник Залесский (ныне генерал) – тот даже лекцию о применении в бою технических средств связи заканчивал катоновской формулой:

– Кроме того, полагаю, что необходимо упразднить привилегии гвардии.

Заметьте – только привилегии. Так как никто не посягал на существование старых испытанных частей, многие из которых имели выдающуюся боевую историю.

Замкнутый в кастовых рамках и устаревших традициях корпус офицеров гвардии комплектовался исключительно лицами дворянского сословия, а часть гвардейской кавалерии – и плутократией. Эта замкнутость поставила войска гвардии в очень тяжелое положение во время мировой войны, которая опустошила ее ряды. Страшный некомплект в офицерском составе гвардейской пехоты вызвал такое, например, уродливое явление: ряды ее временно пополняли офицерами-добровольцами гвардейской кавалерии, но не допускали армейских пехотных офицеров. Помню, когда в сентябре 1916 года, после жестоких боев на фронте Особой и 8-й армий, генерал Каледин настоял на укомплектовании гвардейских полков несколькими выпусками юнкерских училищ, – офицеры эти, неся наравне с гвардейцами тяжелую боевую службу, явились в полках совершенно чужеродным элементом и не были допущены по-настоящему в полковую среду.

Нет сомнения, что гвардейские офицеры, за редкими исключениями, были монархистами par excellence и пронесли свою идею нерушимо через все перевороты, испытания, эволюции, борьбу, падение, большевизм и добровольчество. Иногда скрытно, иногда явно. Я не желаю ни возносить, ни хулить. Они – только члены своей касты, своего класса и разделяют с ним его пороки и достоинства. И если в минувшую войну в гвардейских корпусах было больше крови, чем успеха, то виною этому отнюдь не офицерство, а крайне неудачные назначения старших начальников, проведенные в

порядке придворного фаворитизма. Особенно ярко это сказалось на Стоходе. Офицерство же дралось и гибло с высоким мужеством. Но наряду с доблестью, иногда рыцарством, в большинстве своем в военной и гражданской жизни оно сохраняло кастовую нетерпимость, архаическую классовую отчужденность и глубокий консерватизм – иногда с признаками государственности, чаще же с сильным уклоном в сторону реакции.

В солдатской толще, вопреки сложившемуся убеждению, идея монархизма глубоких мистических корней не имела. Еще менее, конечно, эта малокультурная масса отдавала себе тогда отчет в других формах правления, проповедуемых социалистами разных оттенков. Известный консерватизм, привычка «испокон века», внушение церкви – все это создавало определенное отношение к существующему строю, как к чему-то вполне естественному и неизбежному.

В уме и сердце солдата идея монарха, если можно так выразиться, находилась в потенциальном состоянии, то подымаясь иногда до высокой экзальтации при непосредственном общении с царем (смотры, объезды, случайные обращения), то падая до безразличия. Как бы то ни было, настроение армии являлось достаточно благоприятным и для идеи монархии, и для династии. Его легко было поддержать.

Но в Петрограде, в Царском Селе ткалась липкая паутина грязи, распутства, преступлений. Правда, переплетенная с вымыслом, проникала в самые отдаленные уголки страны и армии, вызывая где боль, где злорадство. Члены Романовской династии не оберегли «идею», которую ортодоксальные монархисты хотели окружить ореолом величия, благородства и поклонения.

Война не изменила обстановки. Создание ненужных, дорого стоивших должностей для лиц императорской фамилии (Верховный санитарный инспектор, инспектор войск гвардии, походный атаман казачьих войск и т. д.), назначение их на строевые должности, на которых без надлежащей подготовки они или приносили вред, или служили игрушкой в руках штабов – все это было хорошо известно армии, комментировалось, осуждалось.

Маленькая деталь: войска чрезвычайно чутко относятся ко всякому проявлению внимания к ним, к признанию их заслуг. Ко мне в дивизию и в корпус четыре раза приезжали великие князья награждать от имени государя георгиевскими крестами. Эти

приезды всегда вызывали подъем настроения и кончались полным разочарованием. После славного и тяжкого боя так много у всех накопилось переживаний, так хотелось поделиться своими горестями и радостями, хотелось, по крайней мере, чтобы тот, кто приехал награждать, немножко поинтересовался жизнью, бытом, подвигами их... В ответ – полное обидное безразличие: приехал, раздал и уехал, как будто исполняя скучную формальность...

Помню впечатление одного думского заседания, на которое я попал случайно.

Первый раз с думской трибуны раздалось предостерегающее слово Гучкова о Распутине:

«В стране нашей неблагополучно...»

Думский зал, до тех пор шумный, затих, и каждое слово, тихо сказанное, отчетливо было слышно в отдаленных углах. Нависало что-то темное, катастрофическое над мерным ходом русской истории...

Я не стану копаться в той грязи, которая покрыла и министерские палаты, и интимные царские покои, куда имел доступ грязный, циничный «возжигатель лампад», который «доспевал» министров, правителей и владык.

Рассказывали, что попытки Распутина попасть в Ставку вызвали угрозу Николая Николаевича повесить его. Также резко отрицательно относился к нему Алексеев. Этим двум лицам мы обязаны всецело тем обстоятельством, что гибельное влияние Распутина не коснулось старой армии.

Всевозможные варианты по поводу распутинского влияния проникали на фронт, и цензура собирала на эту тему громадный материал даже в солдатских письмах из действующей армии.

Но наиболее потрясающее впечатление произвело роковое слово «измена».

Оно относилось к императрице.

В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве ее в отношении фельдмаршала Китченера, о поездке которого она якобы сообщила немцам, и т. д.

Переживая памятью минувшее, учитывая то впечатление, которое произвел в армии слух об измене императрицы, я считаю, что это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении ее и к династии, и к революции.

Генерал Алексеев, которому я задал этот мучительный вопрос весною 1917 года, ответил мне как-то неопределенно и нехотя:

- При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземплярах – для меня и для государя. Это произвело на меня удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользоваться ею...

Больше ни слова. Переменил разговор...

История выяснит, несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое оказывала императрица Александра Федоровна на управление Русским государством в период, предшествовавший революции. Что же касается вопроса об «измене», то этот злосчастный слух не был подтвержден ни одним фактом и впоследствии был опровергнут расследованием специально назначенной Временным правительством комиссии Муравьева, с участием представителей от Совета рабочих и солдатских депутатов.

Наконец, третий устой – Отечество. Увы, затуманенные громом и треском привычных патриотических фраз, расточаемых без конца по всему лицу земли русской, мы проглядели внутренний органический недостаток русского народа: недостаток патриотизма.

Теперь незачем уже ломиться в открытую дверь, доказывая это положение. После Брест-Литовского договора, не вызвавшего сокрушительного народного гнева; после инертного отношения русского общества к отторжению окраин, даже русских по духу или крови, мало того – оправдания его; после польско-петлюровского договора и польско-советского мира; после распродажи русских территориальных и материальных ценностей международным политическим ростовщикам...

Нет сомнения, что явление распада русской государственности, известное под именем «самостийности», во многих случаях имело целью только отгородиться временно от того бедлама, который представляет из себя «Советская республика». Но жизнь, к сожалению, не останавливается на практическом осуществлении такого в своем роде санитарного кордона, а поражает саму идею государственности. Даже в землях крепких, как, например, казачьи области. Правда, не в толще, а в верхах. Так, в Екатеринодаре в 1920 году на Верховном круге трех казачьих войск, после горячего спора, из предложенной формулы присяги было изъято упоминание о России...

Или распятую Россию любить не стоит?

Какую же роль в сознании старой армии играл стимул «отечества»? Если верхи русской интеллигенции отдавали себе ясный отчет о причинах разгоравшегося мирового пожара – борьбы государств за гегемонию политическую и главным образом экономическую, за свободные пути, проходы, за рынки и колонии, борьбы, в которой России принадлежала роль лишь самозащиты, то средняя русская интеллигенция, в том числе и офицерство, удовлетворялись зачастую только поводами – более яркими, доступными и понятными. Войны не хотели, за исключением разве пылкой военной молодежи, жаждавшей подвига; верили, что власть примет все возможные меры к предотвращению столкновения; мало-помалу, однако, приходили к сознанию роковой неизбежности его; поводы были чужды какой-либо агрессивности или заинтересованности с нашей стороны, вызывали искреннее сочувствие к слабым, угнетаемым, находились в полном соответствии с традиционной ролью России. Наконец, не мы, а на нас подняли меч... И потому, когда началась война, стих голос и тех, в которых таился страх, что уровень культуры и экономиче-ского состояния нашей страны не даст ей победы в борьбе с сильным и культурным противником. Войну приняли с большим подъемом, местами с

энтузиазмом.

Офицерский корпус, как и большинство средней интеллигенции, не слишком интересовался сакраментальным вопросом о «целях войны». Война началась. Поражение принесло бы непомерные бедствия нашему Отечеству во всех областях его жизни. Поражение повело бы к территориальным потерям, политическому упадку и экономическому рабству страны. Необходима победа. Все прочие вопросы уходили на задний план, могли быть спорными, перерешаться и видоизменяться. Это упрощенное, но полное глубокого жизненного смысла и национального самосознания отношение к войне не было понято левым крылом русской общественности и привело ее в Циммервальд и Киенталь. Неудивительно поэтому, что когда у анонимных и русских вождей революционной демократии перед сознательным разрушением ими армии в феврале 1917 года предстала дилемма: спасение страны или революции? Они избрали последнее.

Еще менее идея национальной самозащиты была понята темным народом. Народ подымался на войну покорно, но без всякого воодушевления и без ясного сознания необходимости великой жертвы. Его психология не подымалась до восприятия отвлеченных национальных догматов. «Вооруженный народ», каким была по существу армия, воодушевлялся победой, падал духом при поражении; плохо уяснял себе необходимость перехода Карпат, несколько больше – борьбу на Стыри и Припяти, но все же утешал себя надеждой: мы тамбовские, до нас немец не дойдет...

Мне приходится повторить эту довольно избитую фразу, ибо в ней глубокая психология русского человека.

Сообразно с таким преобладанием материальных ценностей в мировоззрении «вооруженного народа», в его сознание легче проникали упрощенные, реальные доводы за необходимость упорства в борьбе и достижения победы, за недопустимость поражения: чужая немецкая власть, разорение страны и хозяйств, тягость предстоящих в случае поражения податей и налогов, обесценение хлеба, проходящего через чужие проливы, и т. п. Кроме того, было все же некоторое доверие к власти, что она делает то, что нужно. Тем более, что ближайшие представители этой власти – офицеры – шли рядом, даже впереди, и умирали также безотказно и безропотно, по велению свыше или по внутреннему убеждению. И солдаты шли мужественно на подвиг и на смерть.

Потом, когда это доверие рухнуло, сознание солдатской массы затуманилось окончательно. Формулы «без аннексий и контрибуций», «самоопределение народов» и проч. оказались более абстрактными и непонятными, чем старая отметаемая, заглохшая, но не вырванная из подсознания идея Родины.

И для удержания солдат на фронте с подмостков, осененных красными флагами, послышались вновь и преимущественно знакомые мотивы материального порядка – немецкое рабство, разорение хозяйств, тяжесть налогов и г. д. Раздавались они уже из уст социалистов-оборонцев.

Итак, три начала, на которых покоился фундамент армии, были несколько подорваны.

Указывая на внутренние противоречия и духовные недочеты русской армии, я далек от желания поставить ее ниже других: они в той или иной степени свойственны всем народным армиям, получившим почти милиционный характер, и не мешали ни им, ни нам одерживать победы и продолжать войну. Но выяснение облика армии необходимо для уразумения ее последующих судеб».